

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ

**Жизнь
Клима Самгина**

Часть 2

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г71

Горький, М.

Г71 Жизнь Клима Самгина. В 4 ч. Ч. 2. / М. Горький. – М. : T8RUGRAM, 2017. – 492 с.

ISBN 978-5-521-78658-9 (ч. 2)

ISBN 978-5-521-05563-0

Максим Горький (1868–1936) – основоположник социалистического реализма, принадлежащий к числу писателей, определивших образ русской литературы XX века. В прозе, драматургии и мемуарах Горький мастерски отразил социальные типы, общественные отношения, историю, быт и культуру России первой трети XX века.

«Жизнь Клима Самгина» – роман-эпопея, самое известное и крупное, итоговое произведение Максима Горького, называемое им самим "Историей пустой жизни". Горький писал этот роман одиннадцать лет вплоть до своей смерти, как "нечто "прощальное", некий роман-хронику сорока лет русской жизни". Это роман о людях, которые, по словам автора, "выдумали себе жизнь", "выдумали себя", и роман о России и страшной трагедии, случившейся со страной.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC004000

ISBN 978-5-521-78658-9 (ч. 2)
ISBN 978-5-521-05563-0

© T8RUGRAM, оформление, 2017

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клим Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство исчезло. Он понимал, что говорит неинтересно. Его стесняло желание найти свою линию между неумеренными славословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других, а кроме того, он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статей Инокова.

Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней, а когда произносил эти слова, слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспомнить о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил в памяти его только виноватую улыбку.

— Ничтожный человек, министры толкали и тащили его куда им было нужно, как подростка, — сказал он и несколько удивился силе мстительного, личного чувства, которое вложил в эти слова.

Сидели в саду, в тени вишен, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер, удушливая жара предвещала грозу; в небе, цвета снятого молока, пенились сизоватые клочья облаков; тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следила за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре, под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску, в коляске шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами изучая небо.

— В таком же тоне, но еще более резко писал мне Иноков о царе, сказала Спивак и усмехнулась: — Иноков пишет письма так, как будто в России только двое грамотных: он и я, а жандармы — не умеют читать.

Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола.

— И — что же? — спросила Спивак, подняв голову. — Говорили что-нибудь о Ходынке?

— О Ходынке? Нет. Я — не слышал ничего, — ответил Клим и, вспомнив, что он, думая о царе, ни единого раза не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой:

— Незлобивый народ забыл об этом. Даже Иноков, который любит говорить о неприятном, — забыл.

Пристально взглянув на Клим, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья:

— Просит есть!

Она взяла сына, отвернувшись и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос:

— Вот какой у меня серьезный сын! Не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир. Хороший!

А отец Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей:

— Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня, под ногтями.

Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Все скучно: женщина, на белое платье которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод; чахоточный, зеленолицый музыкант в черных очках, неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города.

Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на Варавку и мать: они, с выставки, уехали в Крым, это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся наверх в ее комнату и был неприятно удивлен: на пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац, подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна — в сером чехле, все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконниках нет. И казалось, что эта неприглядная пустота иронически спрашивает:

«Да — была ли девушка-то?»

Но девушка была, об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянувшая, как боль.

Он вышел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти все, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрие. А вот о Лидии думается против воли. Было бы не плохо, если б с нею случилось несчастье, неудачный роман или что-нибудь в этом роде. Было бы и для нее полезно, если б что-нибудь согнуло ее гордость. Чем она гордится? Не красива. И — не умна.

Очень пыльно было в доме, и эта пыльная пустота, обесцвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга, Клим смотрел на нее, как смотрят из окна вагона на коров вдаль, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей

массы города, прижавшегося на берегу тихой, мутной реки. Картины выставки линияли, забывались, как сновидение, и думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая, сизая фигурка царя.

Спивак жила не задевая, не поучая его, что было приятно, но в то же время и обижало. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и то неохотно, а смотрела на все, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал или слишком углублен в себя. В девять часов утра она уходила в школу, являлась домой к трем; от пяти до семи гуляла с ребенком и книгой в саду, в семь снова уходила заниматься с любителями хорового пения; возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый, коренастый щеголь, в панаме, с тростью в руке, с толстыми усами, точно два куска смолы. Раз или два она спросила Клим:

— Вы будете писать о выставке?

— Пишу, — ответил он, хотя еще не начинал писать, мешала скука.

По утрам, через час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам Спивак, шел нерешительно, точно ребенок, только что постигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя, а темненький, мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке.

— Вот — смотрите, — говорил он, подняв руки свои к лицу Самгина, показывая ему семь пальцев: — Семь нот, ведь только семь, да? Но — что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это — везде, во всем: нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного.

Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов.

— Чтоб рассказать вам содержание одного аккорда, нужны десятки слов.

А однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу, как новость:

— Умираю. Осенью, наверное, умру.

— Полноте, что вы, — возразил Самгин, заботясь, чтоб слова его звучали не очень равнодушно.

— Жена тоже не верит, — сказал Спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор. — Но я — знаю: осенью.

Вы думаете — боюсь? Нет. Но — жалею. Я люблю учить музыке.

Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком.

— Жена тоже любит учить, да! Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра: пусть каждый честно играет свою партию, и все будет хорошо.

Говорил он задыхаясь, в горле его что-то шипело; вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал:

— Пыль в этом городе пахнет птичьим калом. Самгин принимал его речи, как полуумный лепет Диомидова, от этих речей становилось еще скучнее, и наконец скука погнала его в редакцию.

Редакция помещалась на углу тихой Дворянской улицы и пустынного переуллка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен: одна часть его осталась на улице, другая, длиннее на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду, желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленой кожи, солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона, и над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова: «Наш край».

По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографских машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату; среди ее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полосу бумаги.

Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но, когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенной.

— Приехал? Давно ли?

— Как живешь? — ответил Самгин, неприятно смущенный и неумело преувеличенной радостью и обращением на ты.

— Подкидышами живу, — очень бойко и шумно говорил Иван. — Фельетонист острит: приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша пять раз продаете.

Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп, от этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал:

— У нас тут всё острят. А в проклятом городе — никаких событий! Хоть сам грабь, поджигай, убивай — для хроники.

Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинет редактора, там как будто кошка играла бумагой.

Белые, пожелтевшие от старости двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал:

— Дронов! Какого чорта вы... Ах, здравствуйте! — ласково сказал он и распахнул дверь еще шире.. — Прощу!

И через минуту Клим, сидя против него, слушал:

— Цензор болен логофобией, то есть словобоязнью, господа сотрудники интемперией — безудержной словоохотливостью, и каждый стремится показать другому, что он радикальнее его.

Он говорил солидно и не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски, и обиженная губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова. Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора, почти каждую статью его пестрили словечки: *ab ovo, o tempora, o mores! dixi, testimonium paupertatis*¹ и прочее, излюбленное газетчиками. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами, в стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые, бабыи плечи, тускло блестел голый затылок, казалось, что в книжном шкафе заперт двойник редактора.

— Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: «Чем хуже — тем лучше». И, наконец, — марксисты, эти квазиреволюционеры без любви к народу.

Запах типографской краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумолкаемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул.

— Это о выставке? — спросил он, отгоняя рукописью Клима дерзкую муху, она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его. — Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом, — продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему, и сморщил лицо, следя, как муха ошалело носится над столом. — Он — мизантроп, Иноков, это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами и что это вообще признак...

Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножко растянул ее; Самгин понял, что редактор улыбается.

— И, кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов, — не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров. Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию...

Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал Климу пачку разномерных бумажек.

— Н-да-с, — вот! А недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение, мы его тиснули, оказалось — Бенедиктова! Разумеется — нас высмеяли. Спрашиваю Дронова: «Что же это значит?» — «Мне, говорит, знакомый семинарист дал». Гм... Должен сказать — не верю я в семинариста.

В кабинет вломился фельетонист, спросил:

— Опять меня зарезали?

И, пожимая руку Самгина, сообщил:

¹ *Ab ovo* — букв. «от яйца» — с самого начала; *o tempora, o mores!* — о времена, о нравы! *dixi* — я сказал; *testimonium paupertatis* — букв. «свидетельство о бедности» (употребляется в значении «скудоумия»).

— Пятый фельетон в этом месяце.

Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось докрасна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене; чесучовый пиджак съезжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлявшись, он вытер рот не очень свежим платком и объявил Климу:

— Простудился.

Затем он сказал, что за девять лет работы в газетах цензура уничтожила у него одиннадцать томов, считая по двадцать печатных листов в томе и по сорок тысяч знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью.

— Преувеличиваешь, — пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой.

Робинзон хотел сказать что-то, спрыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой, — редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка:

— Опять забыли плевальницу поставить.

Вошел Дронов, редактор возвел глаза над очками.

— Я звонил не вас, сторожа.

— Хроника, — сказал Дронов.

— Что именно?

— Утопленник. Две мелких кражи. Драка на базаре. Увечье...

— Жизнь, а? — вскричал Робинзон, взяв Клима под руку. — Идемте пиво пить.

Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил:

— Тюремный инспектор Топорков вчера, в управе, назвал членов управы Грачева — идиотом, а Тимофеева — вором...

— Но оба они не поверили ему, — закончил Робинзон и повел Клима за собой.

Самгин не хотел упустить случай познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил:

— Идем в Валгаллу, так называю я «Волгу», ибо кабак есть русская Валгалла, иде же упокоятся наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями. Вас, юноша, какие страсти бушуют?

Шли чистенькой улицей, мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами.

— Удобненькие домишечки, — бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух. — Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств...